Джордж Герберт Уеллс

Країна сліпих

Твір подається російською мовою через відсутність українського перекладу

СТРАНА СЛЕПЫХ

За триста с лишним миль от Чимборасо, за сто миль от снегов Котопахи, в самой глуши Эквадорских Анд, отрезанная от мира человеческого, лежит таинственная горная долина — Страна Слепых. Много лет назад долина эта была еще настолько открыта для мира, что люди все же могли страшными ущельями, по ледяным тропам проникать на ее плоские луга. И вот пришли туда люди — две-три семьи перуанских метисов, бежавших от жадности и тирании жестокого испанского наместника. Потом произошло страшное извержение Миндобамбы, когда семнадцать суток в Квито стояла ночь, и вода в Ягвачи превратилась в кипяток, и до самого Гуаякиля вся рыба, всплыв, перемерла. По тихоокеанским склонам шли обвалы, быстрое таяние и внезапные наводнения, и целый гребень древнего Арауканского хребта пополз, обрушился с громом и навсегда отрезал для исследователя путь в Страну Слепых. Но одного из тех первых поселенцев землетрясение захватило по эту сторону ущелья, и пришлось ему — хочешь не хочешь — забыть жену и ребенка, и всех друзей, и все свое добро, оставленное там в горах, и начать жизнь сызнова в низине. Он начал ее сызнова, но не было ему удачи, его постигла слепота, и умер он, сосланный в рудники. Но из его рассказов родилась легенда, которая в Андах живет и поныне.

Он рассказывал, почему отважился уйти из надежного приюта, куда еще ребенком его привезли привязанным к ламе между двух

большущих тюков с пожитками. В долине, говорил он, было все, чего может желать человек: пресная вода, пастбища и ровный климат, склоны тучного чернозема, заросли кустарника, дающего вкусные плоды, а большой сосновый бор на одном из склонов высоко в горах задерживал лавины. С трех сторон серо-зеленые каменные утесы поднимали ввысь свои головы, покрытые снеговыми шапками. Но ледники не доходили сюда, протекая мимо по дальним склонам, и только время от времени скатывались на края долины большие глыбы льда. Там никогда не бывало ни дождя, ни снега, но бесчисленные родники позволяли провести орошение по всей долине и превратить ее в сплошное, богатое кормом пастбище. Поселенцам, что и говорить, жилось привольно. Их скот тучнел и множился. Одно только омрачало их счастье. Но и этого одного было довольно, чтобы отравить горечью их дни. Странная болезнь напала на них, поражая слепотой всех новорожденных, а иногда и детей постарше. И вот, чтобы найти отворотное средство от проклятия слепоты, человек с великим трудом и опасностями вернулся по ущелью в низину. В те времена люди в подобных случаях думали не о микробах и заразе, а только о грехах; и ему казалось, что причина напасти — небрежение к религии: среди поселенцев не было священника, и они не позаботились, придя в долину, тотчас воздвигнуть церковь. Он надумал построить в долине церковь, настоящую — недорогую, но красивую церковь. Ему нужны были мощи и разные другие предметы культа — священные реликвии, таинственные образки, листки с молитвами. В котомке у него лежал слиток местного серебра, происхождение которого он отказывался объяснить. Настойчиво — с настойчивостью неумелого лгуна — он твердил, что серебра в долине нет. По его словам, поселенцы, не нуждаясь в подобных ценностях, собрали там у себя все свои деньги и украшения и переплавили их в этот слиток, чтобы купить на него божью помощь от своей болезни. Я так и вижу его, молодого подслеповатого горца, как незадолго перед катастрофой он стоит, опаленный солнцем, исхудалый, взволнованный, незнакомый с нравами жителей низины, и, лихорадочно комкая шляпу, рассказывает свою историю какому-нибудь остроглазому, жадно слушающему священнику. Представляю себе, как поспешил он потом домой с чудотворными средствами против их беды,

и в каком безграничном отчаянии он стоял перед нагромождением скал, возникшим на том месте, где еще недавно был вход в ущелье. Но история его дальнейших злоключений для меня потеряна. Знаю только о его недоброй смерти через несколько лет. Жалким скитальцем пошел он прочь от места обвала. Ручей, некогда проложивший в скалах то ущелье, теперь выбивается из жерла горной пещеры, а предание, порожденное скупым, бессвязным рассказом пришельца, выросло в легенду о слепом народе где-то "там за горами", которую можно услышать и сегодня.

А среди малочисленного населения отрезанной с тех пор и забытой долины болезнь шла своим ходом. Старики, полуослепшие, двигались ощупью, молодые видели смутно, дети же, рождавшиеся у них, не видели вовсе. Но жизнь была легка в этой отгороженной снегами, потерянной для остального мира котловине, где не было ни шипов, ни колючек, ни вредных насекомых и не было других животных, кроме смирных лам, которых жители привели с собой, перегнали через крутые перевалы, протащили по руслам зажатых ущельями рек. Зрение меркло так постепенно, что люди едва замечали его утрату. Незрячих детей водили туда и сюда по долине, пока они не ознакомятся с ней в совершенстве, и когда зрение среди них угасло окончательно, люди все же продолжали жить. Они успели даже приспособиться в слепоте к употреблению огня, который старательно разводился в каменных очагах. Поначалу это было первобытное племя, не знавшее грамоты, лишь слегка затронутое испанской культурой, но сохранившее притом некоторые традиции искусства и ремесел древнего Перу да кое-что от его ныне утраченной философии. Поколение сменялось поколением. Они многое забыли, многое изобрели. Предание о широком мире, откуда они пришли, приобрело для них туманную окраску мифа. Во всем, кроме зрения, они были сильными, способными людьми, и волей случая и наследственности среди них родился человек, обладавший самобытным умом и даром убеждения, а за этим и еще один. Оба оставили по себе след. Маленькая община росла численно и духовно, разрешая вставшие перед нею по мере ее роста социальные и экономические задачи. Поколение сменялось поколением, поколение поколением.

Настал час, когда в пятнадцатом поколении родился на свет младенец, явившийся прямым потомком того человека, который ушел из долины со слитком серебра искать помощи у бога и не вернулся. И тут случилось, что явился в общину человек из внешнего мира. Об этом-то человеке и пойдет рассказ.

Он был уроженец горной страны по соседству с Квито, человек, ходивший в море и повидавший свет, по-своему начитанный, ловкий, предприимчивый. Группа англичан, приехавшая в Эквадор лазать по горам, взяла его взамен одного из трех своих проводников-швейцарцев, который заболел. Он лазал с ними повсюду, но при попытке взойти на Параскотопетл — Маттергорн Анд — исчез и считался погибшим. Этот случай описывался уже не раз. Лучше всех излагает его Пойнтер. Он рассказывает, как их небольшая партия одолела тяжелый, почти вертикальный подъем до подножия последней, самой неприступной кручи; как они на ночь собрали шалаш в снегу на узкой площадке уступа, и дальше с подлинно драматической силой передает, как вскоре они обнаружили, что Нуньеса нет. Они кричали, но ответа не было; кричали и свистели и больше не спали в ту ночь.

Когда рассвело, они увидели следы его падения. Наверное, он и вскрикнуть не успел. Он сорвался с восточного, неисследованного, склона горы. С большой высоты он свалился на крутой снежный откос и пробороздил по нему колею, катясь со снежным обвалом. Борозда вела прямо к краю стремнины, а там все уже терялось в бездне. Далеко-далеко внизу виднелись сквозь туман деревья, росшие в узкой, зажатой между гор долине — утерянной Стране Слепых. Но путешественники не могли знать, что то была утерянная для людей Страна Слепых, не могли отличить ее от любой узкой горной долины. Потрясенные несчастьем, они не решились в тот день завершить восхождение, а после Пойнтер был призван на войну, так и не успев повторить попытку. До сего дня Параскотопетл вздымает свой непокоренный гребень и шалаш Пойнтера, никем не навещаемый, ветшает в снегах.

А упавший остался жив.

От края склона он пролетел вниз тысячу футов и в снежном облаке упал на снежный склон, еще более крутой, чем верхний. Он кубарем катился вниз по этому склону, оглушенный и без чувств, но ни одна кость в его теле не была повреждена. Дальше пошли более отлогие склоны, и по ним он скатился до самого конца и лежал, погребенный в мягких белых сугробах, сорвавшихся с ним вместе и спасших его. Когда он очнулся, у него было смутное ощущение, будто он лежит больной в кровати; потом с сообразительностью горца он осознал свое положение и начал разгребать снег вокруг себя. Он отдыхал и опять принимался за работу, пока не увидел звезды. Лежа навзничь, он спрашивал себя, где он и что с ним случилось. Он ощупал себя всего и обнаружил, что на одежде у него не хватает многих пуговиц, а куртка завернулась ему на голову. В кармане не оказалось ножа, и шапка пропала, хотя была завязана под подбородком. Он вспомнил, что пошел поискать камней, чтобы поднять повыше стены шалаша. Его топорик исчез.

Он понял, что упал, и, подняв глаза, проследил головокружительный путь своего падения, показавшийся еще страшнее в призрачном свете восходящего месяца. Какое-то время он тупо глядел на белесый вздымавшийся перед ним утес, что с каждой минутой вырастал все выше из отступающей, как морской отлив, темноты. Очарованный фантастической, таинственной красотою зрелища, он лежал притихший. Потом забился в припадке рыданий и смеха.

Прошло немало времени, когда он увидел, что лежит у нижней границы снегов. Пробежав взглядом по отлогому откосу, залитому лунным светом, он различил как будто темную, усеянную валунами луговину. Превозмогая боль во всех суставах, он принудил себя встать на ноги; пробился кое-как сквозь сугробы рыхлого снега и долго потом спускался вниз, пока не вышел на ту луговину, Здесь он лег, или скорей упал, у валуна, жадно глотнул из фляги, сохранившейся во внутреннем кармане, и сразу заснул.

Его разбудило пение птиц на деревьях далеко внизу.

Он привстал и увидел, что находится на небольшом пригорке у подножия высоченной кручи, прорезанной ложбиной, по которой он скатился сюда в своем сугробе. Напротив уходила в небо другая такая же стена. Ущелье между обеими кручами тянулось на запад и восток и было залито утренним светом, который озарил на западе громаду рухнувшей горы, закрывшей вход в ущелье. Внизу под ногами открывалась пропасть, но в ложбине, пониже границы снегов, Нуньес нашел тесную расселину, где по стенам струилась вода. Что ж, нужно отважиться! Спуск оказался легче, чем можно было ожидать, и вывел на другой одинокий пригорок; а дальше, за скалистым кряжем, начинался поросший лесом склон. Нуньес осмотрелся и решил пойти вверх по ущелью, так как увидел, что там оно расширяется, переходя в зеленую луговину, посреди которой он теперь ясно различал скопление каменных хибарок необычного вида. Местами приходилось ползти по обрыву на четвереньках. Через некоторое время восходившее солнце перестало бить в ущелье, птичий щебет умолк, и воздух вокруг стал холоден и темен. Зато далекая луговина со своими домиками становилась все светлей. Он взобрался на утес и заметил среди скал — так как был наблюдателен — папоротник невиданной породы, который как бы протягивал из щелей цепкие ярко-зеленые руки. Он сорвал несколько листьев, пожевал их черешки и решил, что они съедобны.

К полудню он выбрался наконец из ущелья на луговину и солнечный свет. Тело одеревенело от усталости. Он сел в тени утеса, наполнил флягу водой из родника, выпил все до капли и лег отдохнуть, перед тем как двинуться дальше, к домам.

Вид у них был странный, да и вся долина, чем дольше он на нее смотрел, тем она ему казалась удивительней. Большую часть ее занимал сочный, зеленый луг, точно звездами, усыпанный красивыми цветами и обводненный с редкой заботливостью; покосы, видимо, производились здесь планомерно по участкам. Вверху долину огораживали стена и что-то очень похожее ни окружной оросительный канал, от которого по лугу разбегались питающие растительность ручейки, а за каналом, выше по склонам, щипали скудную траву стада

лам. Здесь и там к стене лепились навесы, как видно, служившие кровом или же местом кормежки для тех же лам. Оросительные ручьи стекались к главному каналу в середине долины, обнесенному с обеих сторон оградой по пояс вышиной, что придавало глухому поселку странно городской вид, и это впечатление еще усиливалось оттого, что во все концы в строгом порядке расходилось множество мощенных черным и белым камнем дорожек, и вдоль каждой дорожки тянулась еще какая-то забавная закраина. Дома в деревне не жались в кучу, как в знакомых ему горных деревнях, — они выстроились двумя сплошными рядами по обеим сторонам центральной улицы, на диво чистой; тут и там их пестрые фасады прорезала дверь, но не видно было ни одного окна. Фасады были пестры какой-то беспорядочной пестротой — обмазаны цементом, где серым, где бурым, где аспидно-черным или исчерна-коричневым. Эта нелепая обмазка и вызвала у Нуньеса впервые мысль о слепоте. "Ну и наляпал человек! — подумал он. — Верно, был слеп, как летучая мышь".

Он спустился по круче и подошел к стене и каналу, окружавшим долину, к тому месту, где канал каскадом тонких колеблющихся струй выбрасывал избыток воды в глубину ущелья. Теперь Нуньес видел в дальнем конце луговины много мужчин и женщин, которые сидели на стогах скошенной травы, как будто отдыхая; поближе к деревне — ватагу валявшихся на земле детей, а еще ближе, совсем неподалеку, — трех мужчин, несших на коромыслах ведра По дорожке, что тянулась от окружной стены к домам. На всех троих была одежда из шерсти ламы, кожаные башмаки и пояса, а на головах — суконные шапки с длинными наушниками. Они шли гуськом, медленным шагом и позевывая на ходу, точно не спали всю ночь. Их осанка была так степенна и такой у них был успокоительно-благополучный и благопристойный вид, что Нуньес после минутного колебания выпрямился на своем уступе во весь рост, стал на самом видном месте и крикнул что есть силы. Эхо раскатилось по, долине.

Трое остановились и завертели головами, как будто озираясь. Они поворачивали лица то в одну, то в другую сторону, а Нуньес махал во

всю мочь руками. Но сколько он ни махал, те как будто не видели его и лишь какое-то время спустя двинулись к горам, забирая правее, чем нужно, и что-то крикнули словно бы в ответ. Нуньес опять закричал, потом еще раз, вновь замахал руками — все так же безуспешно, и тут вторично слово "слепой" всплыло в его сознании. "Дурачье! Слепые они, что ли?" — подумал он.

Когда наконец, накричавшись и позлившись вдосталь, Нуньес пересек по мостику канал, отыскал в стене калитку и подошел к ним, он убедился, что они и в самом деле слепы. Он решил, что попал в Страну Слепых, о которой рассказывает предание. Эта уверенность возникла у него вместе с предчувствием небывалого и завидного приключения. Трое стояли бок о бок, не глядя на него, и настороженно прислушивались к незнакомым шагам. Они жались друг к другу, словно боялись чего-то, и Нуньес увидел, что веки у них опущены и запали, как если бы глазные яблоки под ними ссохлись. Что-то сходное с благоговейным страхом проступило на их лицах.

— Человек, — сказал один на языке, в котором Нуньес едва узнал испанский. — Это человек — человек или дух, вышедший из скал.

А Нуньес подходил уверенным шагом юноши, вступающего в жизнь. Старые сказания о затерянной долине и Стране Слепых всплывали в памяти, и в мысли вплеталась припевом старая пословица:

"В Стране Слепых и кривой — король".

"В Стране Слепых и кривой — король".

Очень учтиво он поздоровался со слепцами. Он с ними говорил, а сам глядел в оба.

— Откуда он, брат Педро? — спросил один.

— Вышел из скал.

— Я пришел из-за гор, — сказал Нуньес, — из страны за горами, где люди — зрячие. Из окрестностей Боготы — города, где живут сто тысяч человек и который тянется так далеко, что глазу не видно, докуда.

— "Не видно, — повторил про себя Педро. — Глазу не видно..."

— Из скал, — подхватил второй слепец. — Он вышел из скал.

Их одежда, примечал Нуньес, была странного покроя, и у каждого сшита по-своему.

Они напугали его, двинувшись разом навстречу, каждый с вытянутой вперед рукой. Он отпрянул на шаг от этих наведенных на него растопыренных пальцев.

— Поди сюда, — сказал третий слепец, подступив к нему так же на шаг, и мягко обхватил его.

Слепцы держали Нуньеса. Ни слова не добавив, они принялись его ощупывать.

— Осторожно! — крикнул он, когда ему ткнули пальцем в глаз. И убедился, что глаз с трепещущими веками кажется им странным. Они ощупали его глаза вторично.

— Странное создание, Корреа, — сказал тот, кого звали Педро. — Какой у него жесткий волос! Как у ламы.

— Шершав, как скалы, породившие его, — сказал Корреа, ощупывая небритый подбородок Нуньеса мягкой, чуть влажной рукой. — Может быть, потом он станет глаже.

Нуньес слегка противился обследованию, но слепые цепко держали его.

— Осторожно! — повторил он.

— Говорит, — сказал третий. — Это, конечно, человек.

— Ух! — крикнул Педро, ощупывая его жесткую куртку.

— Итак, ты пришел в мир? — спросил Педро.

— Пришел из мира. Из-за гор и ледников; прямо из-за тех вершин, что на полдороге к солнцу. Из большого, большого мира, который простерся на двенадцать дней пути, до самого моря.

Они как будто и не слушали его.

— Наши отцы говорили нам, что человек может быть сотворен силами природы, — сказал Корреа: — теплом, влагой и гниением, да, гниением.

— Отведем-ка его к старейшинам, — предложил Педро.

— Сперва покричим, — сказал Корреа, — чтобы нам не напугать детей. Ведь это — чудище.

Они стали кричать, а Педро пошел впереди и взял Нуньеса за руку, чтобы повести его к домам. Нуньес отдернул руку.

— Я же зрячий, — сказал он.

— Зрячий? — переспросил Корреа.

— Да, зрячий, — повторил Нуньес, обернувшись к нему, и споткнулся о ведро Педро.

— Его чувства еще несовершенны, — сказал третий слепец. — Он спотыкается и говорит бессмысленные слова. Веди его за руку.

— Как хотите, — сказал Нуньес и, усмехнувшись, дал себя вести.

Как видно, они ничего не знают о зрении. Ладно, придет время, он им покажет, что это за штука!

Послышались возгласы, и он увидел толпу, собравшуюся на главной улице.

Эта первая встреча с населением Страны Слепых обернулась для него тяжелым испытанием нервов и терпения — куда более тяжелым, чем он ожидал. Деревня была больше, чем казалась ему издалека, а штукатурка домов выглядела еще несуразней. Дети, мужчины и женщины (он с удовольствием отметил, что иные женщины и девушки были хороши собой, хотя глаза и у них были закрыты и вдавлены) обступили его толпой, хватали, ощупывали мягкими ладонями, обнюхивали, вслушивались в каждое слово. Все же многие девушки и дети пугливо сторонились его. Да и в самом деле голос его был резок и груб по сравнению с певучими голосами слепцов. Его совсем затолкали. Три его проводника с видом собственников не отступали от него ни на шаг и беспрестанно повторяли:

— Дикий человек со скал.

— Богота, — сказал он. — Богота. За горным хребтом.

— Дикий человек говорит дикие слова, — пояснил Педро. — Вы когда-нибудь слышали такое слово — "богота"? Его ум еще не сложился. Речь у него только в зачатке.

Маленький мальчик ущипнул его за руку.

— Богота, — передразнил он.

— Да. Город, не то что ваша деревня… Я пришел из большого мира, где у людей есть глаза, где люди видят.

— Его имя — Богота, — решили слепцы.

— Он спотыкается, — сказал Корреа. — Когда мы шли сюда, он два раза споткнулся.

— Отведем его к старейшинам.

Его вдруг втолкнули через дверь в комнату, где было темным-темно и только в дальнем углу слабо тлел огонь. Толпа ввалилась за ним, закрыв последний доступ дневному свету, и Нуньес с разлету грохнулся прямо на вытянутые ноги сидящего человека. Еще кого-то его вскинутая рука, когда он падал, задела по лицу. Он ощутил под ладонью что-то мягкое, услышал сердитый окрик и с минуту отбивался от множества схвативших его рук. Получилась какая-то односторонняя драка. Он понял свое положение и затих.

— Я упал, — сказал он. — У вас тут не видно ни зги.

Наступило молчание, как будто невидимые люди вокруг старались понять его слова. Потом послышался голос Корреа:

— Он лишь недавно сотворен, он спотыкается при ходьбе и пересыпает свою речь бессмысленными словами.

Другие тоже что-то о нем говорили, но он не мог все как следует расслышать и понять.

— Можно мне сесть? — спросил он, воспользовавшись минутным молчанием. — Я больше не буду отбиваться.

Они посовещались и позволили ему сесть.

Чей-то старческий голос стал допрашивать его, и Нуньес попробовал рассказать о большом мире, откуда он упал к ним, о небе, о горах, о зрении и других подобных чудесах — рассказать о них этим старейшинам, сидевшим во мраке в Стране Слепых. Но что он им ни говорил, они ничему не верили и ничего не понимали. Этого он не ожидал. Они даже не понимали иных его слов. На веку четырнадцати поколений эти люди были слепы и отрезаны от зрячего мира. Все слова, относившиеся к зрению, стерлись для них или изменили смысл; стерлись предания о внешнем мире, превратившись в детскую сказку, и больше их не тревожило, что там делается, за скалистыми кручами, над их окружной стеной. Появлялись среди них слепые мудрецы, пересматривали обрывки верований и преданий, донесенных ими от зрячего прошлого, и признали это все праздными домыслами и заменили их новыми, более трезвыми толкованиями. Многое в их образных представлениях отмерло вместе с глазами, и они составили себе новые представления, подсказанные все истончавшимися слухом и осязанием. Нуньес постепенно это понял; ожидание, что слепцы в изумлении склонятся перед его происхождением и дарованиями, не оправдалось; и когда его жалкая попытка объяснить им, что такое зрение, была отвергнута, сочтена за бессвязный бред вновь сотворенного человека, старающегося описать свои неясные ощущения, он сдался и, подавленный, слушал их назидания. И вот старейший среди слепых стал раскрывать ему тайны жизни, философии и веры. Он говорил, что мир (то есть их долина) был сначала пустой ямой в скалах, а потом возникли сперва неодушевленные предметы, лишенные дара осязания, и ламы, и еще другие существа, у которых очень мало разума; затем появились люди и, наконец, ангелы, которых можно слышать, когда они поют и шелестят над головами, но которых коснуться нельзя. Последнее сильно озадачило Нуньеса, пока он не сообразил, что речь идет о птицах.

Дальше он поведал Нуньесу, как время разделилось на жаркое и холодное (у слепых это значило день и ночь), и объяснил, что в жаркое время положено спать, а работать надо, пока холодно. И что сейчас весь город слепых не спит только по случаю его, Нуньеса, появления. Он сказал, что Нуньес, несомненно, для того и создан, чтобы учиться приобретенной ими мудрости и служить ей, и что, несмотря на недоразвитость своего ума и неловкость движений, он должен мужаться и упорствовать в учении, — и эти слова все столпившиеся у входа встретили одобрительным ропотом. Потом он сказал, что ночь (слепые день называли ночью) давно наступила и всем надлежит вернуться ко сну. Он спросил, умеет ли Нуньес спать, и Нуньес ответил, что умеет, но что перед сном он должен поесть.

Ему принесли пищу — кружку молока ламы и ломоть грубого хлеба с солью — и отвели его в укромное место, где бы он мог поесть неслышно для других и потом соснуть до той поры, когда прохлада горного вечера поднимет всех для их нового дня. Но Нуньес не спал.

Вместо этого он сидел, где его оставили, и, вытянув усталые ноги, перебирал в памяти все неожиданности, сопровождавшие его приход в долину. Он нет-нет; а рассмеется то добродушно, то негодующе.

— "Ум еще не сложился", — повторял он. — "Не развиты чувства!" Им и в голову не приходит, что они оскорбили своего ниспосланного свыше короля и властителя. Вижу, придется мне их образумить. Только нужно подумать… Подумать!

Солнце склонилось к закату, а он все еще раздумывал.

Нуньес всегда умел почувствовать красоту, и когда он смотрел на охваченные заревом снежные склоны и ледники, замыкавшие со всех сторон долину, ему казалось, что ничего прекраснее он никогда не видел. От зрелища этой недоступной красоты он перевел взгляд на деревню и орошенные поля, утопавшие в сумраке, и вдруг им овладело

волнение, и он от всего сердца стал благодарить судьбу, что она наделила его даром зрения.

— Го-го! Сюда, Богота, сюда! — услышал он голос из деревни.

Он встал ухмыляясь. Сейчас он раз навсегда покажет этим людям, что значит для человека зрение. Они его станут искать и не найдут.

— Что же ты не идешь, Богота! — сказал голос.

Он беззвучно засмеялся и, крадучись, сделал два шага вбок от дорожки.

— Не топчи траву, Богота: этого делать нельзя.

Нуньес сам еле слышал шорох своих шагов. Он остановился в изумлении.

Человек, чей голос его кликал, бежал по черно-пегой мощеной дорожке прямо на него.

Нуньес опять вступил на дорожку.

— Вот я, — сказал он.

— Почему ты не шел на зов? — спросил слепец. — Что, тебя надо водить, как младенца? Ты разве не слышишь дороги, когда идешь?

Нуньес засмеялся.

— Я вижу ее, — сказал он.

— Нет такого слова "вижу", — сказал слепой, помолчав. — Брось свой вздор и ступай за мной на звук шагов.

Нуньес, досадуя, пошел за ним.

— Придет и мое время, — сказал он.

— Ты научишься, — ответил слепой. — В мире многому надо учиться.

— А ты слыхал поговорку: "В Стране Слепых и кривой — король"?

— Что значит слепой? — небрежно бросил через плечо слепец.

Прошло четыре дня, и пятый застал короля слепых все еще скрывающимся среди своих подданных в обличье неуклюжего, никчемного чужака.

Провозгласить себя королем, увидел он, куда труднее, чем он предполагал, и пока что, обдумывая свой coup d'etat,[1] он делал, что ему приказывали, и учился порядкам и обычаям Страны Слепых. Он нашел, что работать и гулять по ночам очень неудобно, и решил, что это он изменит в первую очередь.

Народ слепцов вел простую, трудовую жизнь, добродетельную и счастливую, если видеть добродетели и счастье в том, что обычно разумеют люди под этими словами. Они трудились, но не слишком обременяя себя работой; у них было вдоволь и пищи и одежды; были дни и месяцы отдыха; они охотно занимались музыкой и пением; познали любовь и рождали детей.

Удивительно, как уверенно и точно двигались они в своем упорядоченном мире. Все было здесь приспособлено к их нуждам, каждая из дорожек, расходившихся лучами по долине, шла под определенным углом к остальным и распознавалась по особой нарезке

на закраине. Все препятствия, все неровности на дорожках и лугах были давно удалены, все навыки и весь уклад слепых, естественно, возникали из тех или иных потребностей. Чувства их чудесно изощрились, за пятнадцать шагов они улавливали и различали малейшее движение человека, даже слышали биение его сердца. Интонация давно заменила для них выражение лица, касание заменило жест. Мотыгой, лопатой и граблями они работали свободно и уверенно, как заправские садовники. Их обоняние было чрезвычайно тонко; они по-собачьи, чутьем распознавали индивидуальные различия; уверенно и ловко справлялись с уходом за ламами, которые жили в скалах наверху и доверчиво подходили к ограде, чтобы получить корм или укрыться под кровом. Но как легки и свободны могут быть движения слепого, это Нуньес узнал лишь тогда, когда вздумал наконец утвердить свою волю.

Он поднял мятеж только после бесплодных попыток действовать убеждением.

Сперва он пробовал от случая к случаю заговаривать с ними о зрении.

— Смотрите, люди, — говорил он. — Многое во мне вам непонятно.

Случалось иногда, двое-трое из них слушали его: сидели с умным видом, наклонив голову и наставив ухо, а он всячески старался объяснить им, что значит "видеть". Среди слушавших его была девушка с менее красными и запавшими веками, чем у других. Так и чудилось, что у нее за веками прячутся глаза, и ее-то в особенности надеялся он убедить. Он говорил о радостях зрения, о том, как прекрасны, когда на них глядишь, горы и небо, и утренняя заря, а те слушали с недоверчивой усмешкой, переходившей тотчас же в осуждение. Ему отвечали, что нет никаких гор, а у конца скал, где ламы щиплют траву, лежит конец мира: туда упирается дырявая крыша мироздания, с которой падают роса и лавины. Когда же он упорно твердил, что у мира нет ни конца, ни крыши, что конец и крыша — лишь выдумка слепых, ему отвечали, что мысли его порочны. Насколько он умел описать им

небо с облаками и звездами, оно представлялось им нелепой и страшной пустотой. Как могла она заменить ту гладкую крышу мироздания, о которой говорила их религия! Они свято верили, что эта дырявая крыша восхитительно гладка на ощупь. Он понял, что его объяснения оскорбляют их, и, отказавшись от такого подхода, попробовал показать им практическую ценность зрения. Как-то утром он увидел, что Педро по дороге, называвшейся Семнадцатой, направляется к центральным домам, увидел издалека, когда слепые еще не могли услышать или учуять идущего, и сказал им: "Скоро Педро будет здесь". Один старик возразил, что Педро нечего делать на Семнадцатой дороге, и тут, как бы в подтверждение его слов, Педро свернул на Десятую и торопливо зашагал обратно к окружной стене. А Нуньеса подняли на смех, когда Педро так и не пришел, и после, когда он, желая оправдаться, насел на Педро с расспросами, тот все отрицал, смеясь над ним в лицо, и с тех пор они стали врагами.

Потом он уговорил их, чтобы ему позволили пройти лугами весь долгий путь по отлогому склону до самой стены и чтоб его сопровождал один из них, а он станет описывать ему все, что делается в деревне промеж домов. Он видел, как кое-кто входил и выходил, но то, что они полагали значительным, происходило внутри или позади безоконных домов деревни — все то, что они сами приметили для проверки, — а этого он как раз не видел и не смог описать им. И вот, когда он потерпел поражение, а те не удержались и высмеяли его, он и решил обратиться к силе. Ему пришло на ум схватить лопату, повалить двух-трех из них на землю и в честной борьбе доказать им превосходство зрячего. Следуя своему решению, он уже схватил лопату, и тут он узнал о себе нечто для него самого неожиданное: что он просто не может хладнокровно ударить слепого.

Он остановился в нерешительности и понял: от слепых не укрылось, что он схватил лопату. Они все настороженно склонили головы набок и, наставив ухо, ждали, что он сделает дальше.

— Положи лопату, — сказал один.

И Нуньеса охватило чувство беспомощности и отвращения. Он едва не послушался.

Тогда он отшвырнул одного прямо к стене дома и стремглав бросился мимо него вон из деревни.

Он пересек луг, оставив за собою полосу примятой травы, и присел на закраину одной из бесчисленных дорожек. Он ощущал некоторый душевный подъем, как каждый в начале борьбы, но больше смущение. Он начал сознавать, что с людьми более низкого духовного уровня, нежели ты сам, даже и бороться успешно нельзя. Он увидел издали, что по всей улице мужчины выходят из домов, вооруженные лопатами и кольями, и движутся на него широким строем по нескольким дорожкам сразу. Подвигались они медленно, переговариваясь между собой, и много раз весь отряд вдруг останавливался, слепые поводили носами и прислушивались.

Когда Нуньес увидел это в первый раз, он рассмеялся. Но потом ему стало не до смеха.

Один слепец учуял его след на сырой траве и пошел по нему, нагибаясь и на ощупь проверяя дорогу.

Минут пять Нуньес следил за медленным продвижением отряда; затем его поначалу смутное желание что-то выкинуть и показать себя перешло в исступление. Он вскочил, сделал несколько шагов к окружной стене, повернулся и прошел немного назад. Те выстроились в полукруг и замерли, прислушиваясь.

Он тоже остановился, крепко сжав лопату в обеих руках. Не напасть ли на них?

Кровь стучала у него в ушах, отбивая ритм припева: "В Стране Слепых и кривой — король".

Напасть на них?

Он оглянулся на высокую неприступную стену позади — неприступную из-за гладкой штукатурки, но всюду прорезанную множеством калиток — и на приближающуюся цепь преследователей. Им на подмогу из деревни выходили теперь и другие.

— Напасть?

— Богота! — крикнул один. — Богота! Где ты?

Он еще крепче сжал лопату и пошел лугами назад к деревне, а слепые, едва он сделал шаг, тотчас двинулись на него.

— Я изобью их, если они меня тронут, — сказал он. — Видит бог, изобью!

И он громко закричал:

— Эй вы, я буду делать у вас в долине все, что захочу! Слышите? Буду делать, что хочу, и ходить куда хочу!

Они быстро надвигались на него — ощупью, но все же очень быстро. Это было похоже на игру в жмурки, только навыворот: глаза завязаны у всех, кроме одного.

— Держи его! — крикнул кто-то.

Нуньес увидел, что уже охвачен дугой широкого незамкнутого круга преследователей. "Пора! — вдруг почувствовал он. — Нужно действовать решительно и быстро".

— Вы не понимаете! — крикнул он громким голосом, который должен был звучать сильно и властно, а прозвучал надорванно. — Вы слепые, а я зрячий. Оставьте меня!

— Богота! Положи лопату! И не ходи по траве.

Последний приказ, чудовищный в своей вежливой снисходительности, его взорвал.

— Я вас изувечу! — взревел он, захлебываясь от бешенства. — Видит бог, я изувечу вас! Оставьте меня!

Он побежал, толком не зная, куда бежать. Сперва он побежал от ближайшего к нему слепого, потому что мерзко было бы его ударить. Потом приостановился, сделал рывок, чтоб уйти от их рядов, смыкавшихся все тесней. Метнулся было в промежуток пошире, но двое слепых, сразу учуяв приближение его шагов, устремились друг к другу. Нуньес кинулся вперед, увидел, что сейчас его схватят, и… стукнул лопатой. Послышался глухой звук удара по руке и плечу, человек упал, завопив от боли, — он пробился.

Пробился! Теперь он был опять возле домов, а слепые, размахивая лопатами и кольями, носились взад и вперед с какой-то рассудительной стремительностью.

Он услышал за собой шаги, услышал как раз вовремя, чтобы увидеть высокого детину, вынесшегося вперед и метившего в него на слух. Он растерялся, швырнул в противника лопатой, промахнулся на целый ярд, завертелся вьюном и побежал прочь, с воплем шарахнувшись от другого слепца.

Ужас охватил его. В исступлении он кидался туда и сюда, увертывался, когда в том не было нужды, и, торопясь смотреть сразу во все стороны, спотыкался. Была секунда, когда он, споткнувшись,

растянулся на земле, и они слышали его падение. Далеко впереди в окружной стене виднелась открытая калитка; это было как просвет в небо. Он кинулся к ней стремглав. Он даже не оглянулся ни разу на преследователей, пока не достиг той калитки. Шатаясь, он прошел по мосту, вскарабкался вверх по скалам, к изумлению и ужасу молодой ламы, которая тотчас ускакала от него, и лег, задыхаясь, наземь.

Так окончился его coup d'etat.

Два дня и две ночи он провел за стеной Долины Слепых, без пищи и крова и размышляя о полученном им неожиданном уроке. В ходе своих размышлений он не раз со все более горькой иронией повторял неоправдавшуюся пословицу: "В Стране Слепых и кривой — король". Он думал больше всего о том, как ему одолеть и покорить народ слепцов, и все ясней понимал, что это для него неосуществимо. У него нет оружия, а добыть его теперь будет очень трудно.

Яд цивилизации проник даже в его родную Боготу, и, отравленный им, Нуньес не мог заставить себя пойти и убить слепого. Конечно, сделай он это, он потом диктовал бы свои условия, грозя народу слепцов поголовным истреблением. Но нельзя же человеку не спать, и рано или поздно, когда он уснет…

Он пробовал также искать пищу там, среди сосен, укрываться под сосновыми ветвями от ночного холода и подумывал, как бы изловчиться и поймать ламу, чтобы затем как-нибудь убить ее — пришибить, что ли, камнем — и получить таким образом хоть мясо. Но ламы, видно, заподозрили в нем врага, глядели на него недоверчивыми карими глазами и плевались, когда он подходил поближе. На третий день у него началась лихорадка, и страх обуял его. В конце концов он приполз к стене Страны Слепых с намерением заключить мир. Он полз вдоль канала и звал, пока к воротам не вышли двое слепых. Он вступил с ними в переговоры.

— Я был безумен, — сказал он, — но я только недавно создан.

Это им понравилось.

Он сказал, что стал теперь умнее и раскаивается в своих проступках.

И тут неожиданно для себя он расплакался, потому что был слаб и болен, но они это сочли за добрый знак.

Его спросили, считает ли он по-прежнему, что умеет "видеть".

— Нет, — сказал он. — То было безумие. Это слово ничего не значит, меньше чем ничего.

Его спросили, что у нас над головой.

— На высоте десятью десяти человеческих ростов над миром простирается крыша... каменная крыша, гладкая-прегладкая...

Он опять истерически разрыдался.

— Не спрашивайте больше ни о чем, дайте мне сперва поесть, или я умру.

Он ожидал жестокого наказания, но слепые умели проявить терпимость. Они усмотрели в его мятеже лишь новое доказательство того, что он слабоумный и стоит на низшей ступени развития. Его просто выпороли и велели ему исполнять самую тяжелую черную работу, какая только нашлась, и он, не видя, как иначе заработать свой хлеб, покорно делал, что ему приказывали.

Несколько дней он был болен, и они заботливо ухаживали за ним. Это облегчило ему тяжесть подчинения. Но его заставляли лежать в темноте, что было для него большим лишением. Слепые философы приходили к нему, толковали о низком уровне его развития и так вразумительно укоряли за его сомнения в каменной крышке, закрывающей коробку их вселенной, что он сам едва не стал считать себя жертвой наваждения, не видя над собою этой крышки.

Так Нуньес сделался гражданином Страны Слепых. Жители ее уже не сливались для него в однородную массу, а приобрели в его глазах свои индивидуальные особенности, между тем как мир за горами становился все более далеким, нереальным. Здесь, в новой жизни, был его хозяин Якоб — добродушный человек, если его не раздражать. Был племянник Якоба — Педро; и была Медина-Саротэ, младшая дочь Якоба. Ее не слишком ценили в мире слепых, потому что у нее были точеные черты лица, и ей недоставало той приятной шелковистой гладкости, которая составляет для слепого идеал женской красоты. Но Нуньес с самого начала находил ее красивой, а теперь считал красивейшим созданием на земле. Ее сомкнутые веки не были вдавлены и красны, как у остальных в долине, — казалось, они могут в любое мгновение вновь подняться; и у нее были длинные ресницы, что считалось здесь уродливым. Голос ее, густой и звучный, не удовлетворял взыскательному слуху жителей долины. Вот почему у нее не было жениха.

Наступила пора, когда Нуньес стал думать, что, получи он ее в жены, он безропотно остался бы в долине до конца своих дней.

Он наблюдал за ней, искал случая оказать ей небольшую услугу; и вот он заметил, что и она тянется к нему. Как-то на праздничном собрании они сидели рядом при слабом свете звезд и слушали тихую музыку. Он коснулся ее пальцев и осмелился их пожать. Она тихонько ответила на пожатие. А однажды, когда они обедали в темноте, он почувствовал, что ее рука осторожно ищет его руку, и тут как раз огонь вспыхнул ярче, и он увидел выражение нежности на ее лице.

Он стал искать беседы с нею.

Однажды в лунную летнюю ночь он пришел к ней, когда она сидела и пряла. В серебряном свете она сама казалась серебристой и загадочной. Он сел у ее ног и сказал, что любит ее, и говорил, какой она ему кажется красивой. У него был голос влюбленного, он звучал с нежной почтительностью, почти благоговейно, а она никогда до той поры не знала мужского поклонения. Она не дала ему определенного ответа, но было ясно, что его слова ей приятны.

С того часа он заговаривал с нею при каждой возможности. Долина стала для него миром, а мир за горами, где люди жили в свете солнца, казался ему теперь волшебной сказкой, которую он когда-нибудь станет нашептывать ей на ухо. Очень робко и осторожно он пробовал заводить с ней разговор о зрении.

Зрение представлялось ей поэтическим вымыслом, и она виновато слушала описания звезд и гор и своей собственной нежной, лунно-белой красоты, как будто слушать это было преступным попустительством. Она не верила, понимая лишь наполовину, но испытывала непонятную радость, а ему казалось, что она все понимает и верит всему.

Его любовь стала менее благоговейной и более смелой. Он решил просить девушку в жены у Якоба и старейшин, но она робела и оттягивала, пока одна из ее старших сестер не опередила их и сама не сообщила Якобу, что Медина-Саротэ и Нуньес любят друг друга.

Мысль о женитьбе Нуньеса на Медине-Саротэ вызвала сначала сильные возражения: не потому чтобы девушку очень ценили, а просто потому, что Нуньеса считали существом особого рода — кретином, недоразвитым человеком, стоящим ниже допустимого уровня. Сестры злобно воспротивились, говорили, что девушка навлекает позор на всю семью. А старый Якоб, хотя и был по-своему расположен к неуклюжему, послушному рабу, только покачивал головой и твердил, что это

невозможно. Всю молодежь приводила в ярость мысль о порче расы, а один парень так разошелся, что грубо обругал Нуньеса и ударил его. Нуньес не остался в долгу. В первый раз за долгие дни ему довелось убедиться, что зрение и в сумерках может дать преимущество. После этой драки больше ни у кого не было охоты поднимать на него руку. Но брак все еще признавали немыслимым.

Старый Якоб питал нежность к своей младшей дочери и печалился, когда она плакала у него на плече.

— Пойми, моя родная, он же идиот. Он бредит наяву; он ничего не умеет делать толком.

— Знаю, — плакала Медина-Саротэ. — Но он сейчас лучше, чем был. Он становится все лучше. И он силен, дорогой мой отец, и добр, сильней и добрей всех людей в мире. И он меня любит… и я, отец, я тоже его люблю.

Старый Якоб был в отчаянии, видя, что дочь безутешна, да к тому же — и это еще отягчало его горе — Нуньес был ему по душе. И вот он пошел и сел в темном, без окон, зале совета среди других старейшин, следя за ходом обсуждения, и вовремя ввернул:

— Он теперь лучше, чем был; может случиться, что в один прекрасный день он станет таким же разумным, как мы.

Потом некоторое время спустя одного премудрого старейшину осенила мысль. Среди своего народа он слыл большим ученым, врачевателем и обладал философским, изобретательным умом. И вот у него явилась соблазнительная мысль излечить Нуньеса от его странностей. Однажды в присутствии Якоба он опять перевел разговор на Нуньеса.

— Я обследовал Боготу, — сказал он, — и теперь дело стало для меня ясней. Я думаю, он излечим.

— Я всегда на это надеялся, — ответил старый Якоб.

— У него поврежден мозг, — изрек слепой врач.

Среди старейшин пронесся ропот одобрения.

— Но спрашивается: чем поврежден?

Старый Якоб тяжело вздохнул.

— А вот чем, — продолжал врач, отвечая на собственный вопрос. — Те странные придатки, которые называются глазами и предназначены создавать на лице приятную легкую впадину, у Боготы поражены болезнью, что и вызывает осложнение в мозгу. Они у него сильно увеличены, обросли густыми ресницами, веки на них дергаются, и от этого мозг у него постоянно раздражен, и мысли неспособны сосредоточиться.

— Вот что? — удивился старый Якоб. — Вот оно как…

— Думается, я с полным основанием могу утверждать, что для его полного излечения требуется произвести совсем простую хирургическую операцию, а именно удалить эти раздражающие тельца.

— И тогда он выздоровеет?

— Тогда он совершенно выздоровеет и станет примерным гражданином.

— Да будет благословенна наука! — воскликнул старый Якоб и тотчас же пошел поделиться с Нуньесом своей счастливой надеждой.

Но его поразило, как нерадостно принял Нуньес его добрую весть.

— Как послушаешь тебя, покажется, что ты вовсе и не думаешь о моей дочери!

Обратиться к слепым хирургам Нуньеса убедила Медина-Саротэ.

— А ты? Ведь ты не хочешь, — спросил он, — чтобы я утратил зрение?

Она покачала головой.

— Зрение — мой мир!

Ее голова поникла.

— Есть красивые вещи на свете, маленькие красивые вещи: цветы, лишайники среди скал, мягонькая пушистая шкурка, далекое небо с плывущими в нем облаками, и закаты, и звезды. И есть на свете ты! Ради тебя одной стоит иметь зрение, чтобы видеть твое милое, ясное лицо, твои ласковые губы, твои дорогие, красивые руки, сложенные на коленях… И моих глаз, которые ты покорила, моих глаз, которые привязали меня к тебе, моих глаз требуют эти идиоты! Чтобы я касался тебя и слышал — и не видел больше никогда! Чтобы я пошел под вашу крышу из камня, утесов и мрака — эту жалкую крышу, которая придавила вашу мысль… Нет, ведь ты не захочешь, чтоб я согласился на это?!

В нем зашевелилось обидное сомнение. Он замолчал, не настаивая на ответе.

— Иногда, — начала она, — иногда мне хочется… — Она замолчала.

— Да?! — сказал он с тревогой.

— Иногда мне хочется, чтобы ты не говорил таких вещей.

— Каких?

— Я понимаю, что они красивы, эти твои фантазии. Я люблю их. Но теперь…

Он похолодел.

— Что же теперь? — тихо спросил он. Она молчала.

— Ты хочешь сказать… ты думаешь, что я, может быть, стану лучше, если…

Он быстро взвесил все. В нем кипела злоба — да, злоба на глупую судьбу, но вместе с тем зашевелилось ласковое чувство к девушке, которой не дано его понять, — чувство, сродни жалости.

— Дорогая, — прошептал он. И ее внезапная бледность показала ему, как сильно, всей душой рвалась она к тому, чего не смела высказать. Он обнял ее, поцеловал в краешек уха, и минуту они сидели молча.

— Что, если бы я согласился? — сказал он тихо-тихо.

— О, если б ты согласился! — твердила она сквозь слезы. — Если б согласился!

За неделю до операции, которая должна была поднять его из рабства и унижения до уровня слепого гражданина, Нуньес совсем лишился сна. В теплые солнечные часы, когда другие мирно спали, он сидел в раздумье или бесцельно бродил по лугам, стараясь вернуть ясность своему смятенному уму и сделать выбор. Он дал свой ответ, дал согласие, но в душе еще не решился. И вот миновала рабочая пора, солнце поднялось во славе своей над золотыми гребнями гор, и начался для Нуньеса последний день света. Он пробыл несколько минут с Мединой-Саротэ, перед тем как она ушла спать.

— Завтра, — сказал он, — я больше не буду видеть.

— Милый, — ответила она и крепко, как могла, сжала его руки.

— Тебе будет только чуть-чуть больно, — сказала она. — И Ты пройдешь через эту боль… ты пройдешь через нее, любимый, ради меня… Дорогой, если сердце женщины, вся ее жизнь могут служить наградой, я вознагражу тебя. Мой дорогой, мой добрый с ласковым голосом, я вознагражу тебя.

Жалость к себе и к ней захлестнула его.

Он обнял ее, припал губами к губам и в последний раз заглянул в ее тихое лицо.

— Прощай, — шепнул он дорогому своему видению, — прощай.

И затем в молчании отвернулся от нее.

Она слышала его медленно удаляющиеся шаги, и было что-то в их ритме, что заставило ее безудержно разрыдаться.

Он собирался просто пойти в уединенное место, на усыпанный белыми нарциссами луг, и побыть там, пока не настанет час его

жертвы, но поднял глаза и увидел утро — утро, подобное ангелу в золотых доспехах, сходящему к нему по кручам.

И показалось ему, что перед этим величием он сам, и этот слепой мир в долине, и его любовь — все, все только мерзость и грех.

Он не свернул в сторону, как собирался, а пошел вперед за окружную стену, в горы, и глаза его были все время прикованы к залитому солнцем льду и снегам.

Он видел их бесконечную красоту, и мысли его перенеслись к той жизни, от которой теперь он должен был навеки отказаться.

Он думал о большом свободном мире, с которым был разлучен, о родном своем мире, и перед ним вставало видение все новых горных склонов, даль за далью, и среди них Богота, город многообразной, живой красоты, днем — блеск и величие, ночью — озаренная тайна; город дворцов, фонтанов, статуй и белых домов, красиво расположившийся в самом сердце далей. Он думал о том, как в какие-нибудь два-три дня можно дойти до него горными ущельями, с каждым шагом подходя все ближе к его оживленным улицам и проспектам. Он думал о том, как долго можно идти по реке, от большого города Боготы в большой, огромный мир, через города и села, через леса и пустыни; идти день за днем по быстрой реке, пока берега не расступятся и не поплывут, поднимая волну, большие пароходы; и тогда ты достигнешь моря — бескрайного моря с тысячью островов — нет, с тысячами островов и смутно видимыми вдали кораблями, что ходят и ходят без устали по широкому свету. И там, не замкнутое горами, ты увидишь небо — небо, не такое, как здесь, не диск, а купол бездонной синевы, глубь глубин, в которой плывут по круговым своим орбитам звезды.

Все зорче всматривались его глаза в каменную завесу гор.

Если, к примеру, подняться по этой ложбине, а потом вот по той расселине, то выйдешь высоко между тех корявых сосенок, что разбежались там по уступам скал, забираясь все выше и выше над ущельем. А потом? Пожалуй, можно влезть на ту осыпь. Затем как-нибудь вскарабкаться по каменной стене до границы снегов, а если та расселина непроходима, ему послужит, может быть, другая, дальше к востоку. А потом? Потом выйдешь в горящие янтарем снега, на полпути к гребню тех прекрасных пустынных высот.

Он взглянул через плечо на деревню, потом повернулся и долго пристально смотрел на нее.

Он думал о Мединe-Саротэ, и она теперь была маленькой и далекой.

Он опять повернулся к стене гор, по которым сошел к нему день. Потом очень осмотрительно начал карабкаться.

Когда солнце склонилось к закату, он больше не карабкался: он был далеко и очень высоко. Побывал он и выше, но и теперь он еще был куда как высоко. Его одежда была изодрана, руки в крови, тело все в синяках, но он лежал покойно, и на его лице была улыбка.

Оттуда, где он лежал, долина казалась ямой, зияющей чуть не на милю внизу. Вечер уже стелил туман и тени, хотя вершины гор окрест были свет и огонь, а скалы рядом с ним в каждой своей частице напоены были тонкой красотой: прожилка зеленой руды бежала по серым камням; вспыхивали тут и там грани кристаллов; мелкий оранжевый лишайник вил тонкий узор вокруг его лица. Ущелье наводнили глубокие таинственные тени; синева сгустилась в темный пурпур, пурпур — в светящийся мрак, а наверху распростерлась безграничная ширь неба. Но он больше не смотрел на эту красоту, он лежал недвижный, улыбаясь, как будто удовлетворенный уже тем одним, что вырвался из Долины Слепых, где думал стать королем.

Закат отгорел, настала ночь, а он все лежал, примиренный и довольный, под холодными светлыми звездами.

Примечания

1

Государственный переворот (франц.)